**ВЕСНОЙ**

С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали от тяжелой болезни, то вам известно блаженное состояние, когда замираешь от смутных предчувствий и улыбаешься без всякой причины. По-видимому, такое же состояние переживает теперь и природа. Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, но как кругом всё весело, ласково, приветливо! Воздух так ясен и прозрачен, что если взобраться на голубятню или на колокольню, то, кажется, увидишь всю вселенную от края до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается и темнеет; она уже проснулась и не сегодня-завтра заревет. Деревья голы, но уже живут, дышат.

В такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в канавах, пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лед. Хорошо также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на деревья и привязывать там скворечни. Да, всё хорошо в это счастливое время года, в особенности если вы молоды, любите природу, и если вы не капризны, не истеричны, и если по службе не обязаны сидеть в четырех стенах с утра до вечера. Нехорошо, если вы больны, если чахнете в канцелярии, если знаетесь с музами.

Да, весною не следует знаться с музами.

Вы поглядите, как хорошо, как славно чувствуют себя обыкновенные люди. Вот садовник Пантелей Петрович, спозаранку нарядился в широкополую соломенную шляпу и никак не может расстаться с маленьким сигарным окурком, который он поднял еще утром на аллее; посмотрите: он стоит, подбоченясь, перед кухонным окном и рассказывает повару, какие он вчера купил себе сапоги. Вся его длинная и узкая фигура, за которую его вся дворня зовет «стрюцким», выражает самодовольство и достоинство. На природу глядит он с сознанием своего превосходства над ней, и во взгляде у него что-то хозяйское, повелительное и даже презрительное, точно, сидя у себя там в оранжерее или копаясь в саду, он узнал про растительное царство что-то такое, чего не знает никто.

Было бы напрасно толковать ему, что природа величественна, грозна и полна чудесных чар, перед которыми должен склонить свою шею гордый человек. Ему кажется, что он знает всё, все тайны, чары и чудеса, а прекрасная весна для него такая же рабыня, как та узкогрудая, исхудалая женщина, которая сидит в пристройке около оранжереи и кормит постными щами его детей.

А охотник Иван Захаров? Этот, в истрепанной драповой куртке и в калошах на босу ногу, сидит около конюшни на опрокинутом бочонке и делает из старых пробок пыжи. Он собирается на тягу. В его воображении рисуется путь, по которому он пойдет, со всеми тропинками, зажорами, ручьями; закрыв глаза, он видит длинный, прямой ряд высоких стройных деревьев, под которыми он будет стоять с ружьем, дрожа от вечерней прохлады, от сладкого волнения и напрягая свой тонкий слух; ему чудятся звуки, которые издает хоркающий вальдшнеп; он уже слышит, как в монастыре, по соседству, после всенощной, пока он стоит на тяге, трезвонят во все колокола... Ему хорошо, он безмерно, бестолково счастлив.

Но теперь поглядите на Макара Денисыча, молодого человека, который служит у генерала Стремоухова не то писарем, не то младшим управляющим. Он получает вдвое больше, чем садовник, носит белые манишки, курит двухрублевый табак, всегда сыт и одет и всегда при встрече с генералом имеет удовольствие пожимать белую пухлую руку с крупным брильянтовым перстнем, но, тем не менее, все-таки как он несчастлив! Вечно он с книжками, выписывает он на двадцать пять рублей журналов, и пишет, пишет... Пишет он каждый вечер, каждое после обеда, когда все спят, и всё написанное прячет в свой большой сундук. В этом сундуке на самом дне лежат аккуратно сложенные брюки и жилеты; на них еще не распечатанная пачка табаку, десяток коробочек из-под пилюль, пунцовый шарфик, кусок глицеринового мыла в желтой обертке и много всякого другого добра, а по краям сундука робко жмутся стопки исписанной бумаги, и тут же два-три нумера «Нашей губернии», где напечатаны рассказы и корреспонденции Макара Денисыча. Весь уезд считает его литератором, поэтом, все видят в нем что-то особенное, не любят его, говорят, что он не так говорит, не так ходит, не так курит, и сам он однажды на мировом съезде, куда был вызван в качестве свидетеля, проговорился некстати, что занимается литературой, причем покраснел так, как будто украл курицу.

Вот он, в синем пальто, в плюшевой шапочке и с тросточкой в руке, тихо идет по аллее... Сделает шагов пять, остановится и уставит глаза в небо или на старого грача, который сидит на ели.

Садовник стоит подбоченясь, на лице у охотника написана строгость, а Макар Денисыч согнулся, робко кашляет и кисло смотрит, точно весна давит и душит его своими испарениями, своей красотой!.. Душа его полна робости. Вместо восторгов, радости и надежд, весна порождает в нем только какие-то смутные желания, которые тревожат его, и вот он ходит и сам не разберет, что ему нужно. В самом деле, что ему нужно?

— А, здравствуйте, Макар Денисыч! — слышит он вдруг голос генерала Стремоухова. — Что, еще не приезжали с почты?

— Нет еще, ваше превосходительство, — отвечает Макар Денисыч, оглядывая коляску, в которой сидит здоровый, веселый генерал со своей маленькой дочкой.

— Чудесная погода! Совсем весна! — говорит генерал. — А вы гуляете? Чай, вдохновляетесь?

А в глазах у него написано:

«Бездарность! Посредственность!»

— Ах, батенька! — говорит генерал, берясь за вожжи. — Какую прекрасную штучку я прочел сегодня за кофе! Пустячок, в две странички, но какая прелесть! Жаль, что вы не владеете французским языком, я дал бы вам почитать...

Генерал наскоро, пятое через десятое, рассказывает содержание прочитанного им рассказа, а Макар Денисыч слушает и чувствует неловкость, словно его вина в том, что он не французский писатель, который пишет маленькие штучки.

«Не понимаю, что он там нашел хорошего? — думает он, глядя вслед исчезающей коляске. — Содержание пошлое, избитое... Мои рассказы гораздо содержательнее».

И Макара начинает сосать червь. Авторское самолюбие — это боль, это катар души; кто болеет им, тому уже не слышно пения птиц, не видно блеска солнца, не видно весны... Нужно лишь чуть-чуть прикоснуться к этой болячке, чтобы сжался болезненно весь организм. Отравленный Макар идет дальше и через садовую калитку выходит на грязную дорогу. Тут, подпрыгивая всем телом на высокой бричке, спешит куда-то господин Бубенцов.

— А, господину писателю! — кричит он. — Наше вам!

Будь Макар Денисыч только писарем или младшим управляющим, то никто бы не посмел говорить с ним таким снисходительным, небрежным тоном, но он «писатель», он бездарность, посредственность!

Такие, как господин Бубенцов, ничего не понимают в искусстве и мало интересуются им, но зато, когда им приходится встречаться с бездарностями и посредственностями, то они неумолимы, безжалостны. Они готовы простить кого угодно, но только не Макара, этого неудачника-чудака, у которого в сундуке лежат рукописи. Садовник сломал старый фикус и сгноил много дорогих растений, генерал ничего не делает и проедает чужое, господин Бубенцов, когда был мировым судьей, разбирал дела только раз в месяц и, разбирая, заикался, путал законы и нес чепуху, но всё это прощается, не замечается; но не заметить и пройти молчанием мимо бездарного Макара, пищущего неважные стихи и рассказы, — никак нельзя, не сказав чего-нибудь обидного. Что свояченица генерала бьет горничных по щекам и бранится за картами, как прачка, что попадья никогда не платит проигрыша, что помещик Флюгин украл у помещика Сивобразова собаку, никому до этого дела нет, но то, что недавно из «Нашей губернии» возвратили Макару плохой рассказ, известно всему уезду и вызывает насмешки, длинные разговоры, негодование, и Макара Денисыча уже называют Макаркой.

Если кто не так пишет, то не стараются объяснить, почему это «не так», а просто говорят:

— Опять этот сукин сын чепуху написал!

Наслаждаться весной мешает Макару мысль, что его не понимают, не хотят и не могут понять. Ему почему-то кажется, что если бы его поняли, то всё было бы прекрасно. Но как могут понять, талантлив он или нет, если во всем уезде никто ничего не читает или читает так, что лучше бы совсем не читать. Как втолковать генералу Стремоухову, что та французская штучка ничтожна, плоска, банальна, избита, как втолковать ему, если он, кроме таких плоских штучек, никогда не читал ничего другого?

А как раздражают Макара женщины!

— Ах, Макар Денисыч! — говорят они ему обыкновенно. — Как жаль, что вас сегодня не было на базаре! Если б вы видели, как смешно дрались два мужика, вы наверно бы описали!

Всё это, конечно, пустяки, и философ не обратил бы внимания, пренебрег бы, но Макар чувствует себя, как на угольях. Душа его полна чувства одиночества, сиротства, тоски, той самой тоски, какую испытывают только очень одинокие люди и большие грешники. Никогда, ни разу в жизни, он не стоял так подбоченясь, как стоит садовник. Изредка разве, этак раз в пять лет, встретившись где-нибудь в лесу, или на дороге, или в вагоне с таким же неудачником-чудаком, как он сам, и заглянув ему в глаза, он вдруг оживет на минутку, оживет и тот. Они долго говорят, спорят, восхищаются, восторгаются, хохочут, так что, со стороны глядя, их обоих можно принять за безумных.

Но обыкновенно и эти редкие минуты не обходятся без отравы. Словно на смех, Макар и неудачник, с которым он встретился, отрицают друг в друге таланты, не признают друг друга, завидуют, ненавидят, раздражаются, расходятся врагами. Так и изнашивается, тает их молодость без радостей, без любви и дружбы, без душевного покоя и без всего того, что так любит описывать по вечерам в минуты вдохновения угрюмый Макар.

А с молодостью проходит и весна.

**ДЕНЬ ЗА ГОРОДОМ**

**(СЦЕНКА)**

Девятый час утра.

Навстречу солнцу ползет темная, свинцовая громада. На ней то там, то сям красными зигзагами мелькает молния. Слышны далекие раскаты грома. Теплый ветер гуляет по траве, гнет деревья и поднимает пыль. Сейчас брызнет майский дождь и начнется настоящая гроза.

По селу бегает шестилетняя нищенка Фекла и ищет сапожника Терентия. Беловолосая босоногая девочка бледна. Глаза ее расширены, губы дрожат.

— Дяденька, где Терентий? — спрашивает она каждого встречного. Никто не отвечает. Все заняты приближающейся грозой и прячутся в избы. Наконец встречается ей пономарь Силантий Силыч, друг и приятель Терентия. Он идет и шатается от ветра.

— Дяденька, где Терентий?

— На огородах, — отвечает Силантий.

Нищенка бежит за избы на огороды и находит там Терентия. Сапожник Терентий, высокий старик с рябым худощавым лицом и с очень длинными ногами, босой и одетый в порванную женину кофту, стоит около грядок и пьяными, посоловелыми глазками глядит на темную тучу. На своих длинных, точно журавлиных, ногах он покачивается от ветра, как скворечня.

— Дядя Терентий! — обращается к нему беловолосая нищенка. — Дяденька, родненький!

Терентий нагибается к Фекле и его пьяное, суровое лицо покрывается улыбкой, какая бывает на лицах людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смешное, но горячо любимое.

— А-аа... раба божия Фекла! — говорит он, нежно сюсюкая. — Откуда бог принес?

— Дяденька Терентий, — всхлипывает Фекла, дергая сапожника за полу. — С братцем Данилкой беда приключилась! Пойдем!

— Какая такая беда? У-ух, какой гром! Свят, свят, свят... Какая беда?

— В графской роще Данилка засунул в дупло руку и вытащить теперь не может. Поди, дяденька, вынь ему руку, сделай милость!

— Как же это он руку засунул? Зачем?

— Хотел достать мне из дупла кукушечье яйцо.

— Не успел еще день начаться, а у вас уже горе... — крутит головой Терентий, медленно сплевывая. — Ну, что ж мне таперя с тобой делать? Надо идтить... Надо, волк вас заешь, баловников! Пойдем, сирота!

Терентий идет с огорода и, высоко поднимая свои длинные ноги, начинает шагать вдоль по улице. Он идет быстро, не глядя по сторонам и не останавливаясь, точно его пихают сзади или пугают погоней. За ним едва поспевает нищенка Фекла.

Путники выходят из деревни и по пыльной дороге направляются к синеющей вдали графской роще. К ней версты две будет. А тучи уже заволокли солнце и скоро на небе не остается ни одного голубого местечка. Темнеет.

— Свят, свят, свят, — шепчет Фекла, спеша за Терентием.

Первые брызги, крупные и тяжелые, черными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падает на щеку Феклы и ползет слезой к подбородку.

— Дождь начался! — бормочет сапожник, взбудораживая пыль своими босыми костистыми ногами. — Это слава богу, брат Фекла. Дождиком трава и деревья питаются, как мы хлебом. А в рассуждении грома ты не бойся, сиротка. За что тебя этакую махонькую убивать?

Ветер, когда пошел дождь, утихает. Шумит только дождь, стуча, как мелкая дробь, по молодой ржи и сухой дороге.

— Измокнем мы с тобой, Феклушка! — бормочет Терентий. — Сухого места не останется... Хо-хо, брат! За шею потекло! Но ты не бойся, дура... Трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех.

Над головами путников сверкает молния сажени в две длины. Раздается раскатистый удар, и Фекле кажется, что что-то большое, тяжелое и словно круглое катится по небу и прорывает небо над самой ее головой!

— Свят, свят, свят... — крестится Терентий. — Не бойся, сиротка! Не по злобе гремит.

Ноги сапожника и Феклы покрываются кусками тяжелой, мокрой глины. Идти тяжело, скользко, но Терентий шагает всё быстрей и быстрей... Маленькая, слабосильная нищая задыхается и чуть не падает.

Но вот наконец входят они в графскую рощу. Омытые деревья, потревоженные налетевшим порывом ветра, сыплют на них целый поток брызгов. Терентий спотыкается о пни и начинает идти тише.

— Где же тут Данилка? — спрашивает он. — Веди к нему!

Фекла ведет его в чащу и, пройдя с четверть версты, указывает ему на брата Данилку. Ее брат, маленький, восьмилетний мальчик с рыжей, как охра, головой и бледным, болезненным лицом, стоит, прислонившись к дереву, и, склонив голову набок, косится на небо. Одна рука его придерживает поношенную шапчонку, другая спрятана в дупле старой липы. Мальчик всматривается в гремящее небо и, по-видимому, не замечает своей беды. Заслышав шаги и увидев сапожника, он болезненно улыбается и говорит:

— Страсть какой гром, Терентий! Отродясь такого грома не было...

— А рука твоя где?

— В дупле... Вынь, сделай милость, Терентий!

Край дупла надломился и ущемил руку Данилы: дальше просунуть можно, а двинуть назад никак нельзя. Терентий надламывает отломок, и рука мальчика, красная и помятая, освобождается.

— Страсть как гремит! — повторяет мальчик, почесывая руку. — А отчего это гремит, Терентий?

— Туча на тучу надвигается... — говорит сапожник.

Путники выходят из рощи и идут по опушке к чернеющей дороге. Гром мало-помалу утихает, и раскаты его слышатся уже издалека, со стороны деревни.

— Тут, Терентий, намедни утки пролетели... — говорит Данилка, всё еще почесывая руку. — Должно, в Гнилых Займищах на болотах сядут. Фекла, хочешь, я тебе соловьиное гнездо покажу?

— Не трогай, потревожишь... — говорит Терентий, выжимая из своей шапки воду. — Соловей птица певчая, безгрешная... Ему голос такой в горле даден, чтоб бога хвалить и человека увеселять. Грешно его тревожить.

— А воробья?

— Воробья можно. Злая птица, ехидная. Мысли у него в голове, словно у жулика. Не любит, чтоб человеку было хорошо. Когда Христа распинали, он жидам гвозди носил и кричал: «жив! жив!»...

На небе показывается светло-голубое пятно.

— Погляди-кось! — говорит Терентий. — Муравейник разрыло! Затопило шельмов этаких!

Путники нагибаются над муравейником. Ливень размыл жилище муравьев; насекомые встревоженно снуют по грязи и хлопочут около своих утонувших сожителей.

— Ништо вам, не околеете! — ухмыляется сапожник. — Как только солнышко пригреет, и придете в чувство... Это вам, дуракам, наука. В другой раз не будете селиться на низком месте...

Идут дальше.

— А вот и пчелы! — вскрикивает Данилка, указывая на ветку молодого дуба.

На этой ветке, тесно прижавшись друг к другу, сидят измокшие и озябшие пчелы. Их так много, что из-за них не видно ни коры, ни листьев. Многие сидят друг на друге.

— Это пчелиный рой, — учит Терентий. — Он летал и искал себе жилья, а как дождь-то брызнул на него, он и присел. Ежели рой летит, то нужно только водой на него брызнуть, чтоб он сел. Таперя, скажем, ежели захочешь их забрать, то опусти ветку с ними в мешок, потряси, они все и попадают.

Маленькая Фекла вдруг морщится и сильно чешет себе шею. Брат глядит на ее шею и видит на ней большой волдырь.

— Ге-ге! — смеется сапожник. — Знаешь ты, брат Фекла, откеда у тебя эта напасть? В роще где-нибудь на дереве сидят шпанские мухи. Вода текла с них и капнула тебе на шею — оттого и волдырь.

Солнце показывается из-за облаков и заливает лес, поле и наших путников греющим светом. Темная, грозная туча ушла уже далеко и унесла с собою грозу. Воздух становится тепел и пахуч. Пахнет черемухой, медовой кашкой и ландышами.

— Это зелье дают, когда из носа кровь идет, — говорит Терентий, указывая на мохнатый цветок. — Помогает...

Слышится свист и гром, но не тот гром, который только что унесли с собой тучи. Перед глазами Терентия, Данилы и Феклы мчится товарный поезд. Локомотив, пыхтя и дыша черным дымом, тащит за собой больше двадцати вагонов. Сила у него необыкновенная. Детям интересно бы знать, как это локомотив, неживой и без помощи лошадей, может двигаться и тащить такую тяжесть, и Терентий берется объяснить им это:

— Тут, ребята, вся штука в паре... Пар действует... Он, стало быть, прет под энту штуку, что около колес, а оно и тово... этого... и действует...

Путники проходят через полотно железной дороги и затем, спустившись с насыпи, идут к реке. Идут они не за делом, а куда глаза глядят, и всю дорогу разговаривают. Данила спрашивает, Терентий отвечает...

Терентий отвечает на все вопросы, и нет в природе той тайны, которая могла бы поставить его в тупик. Он знает всё. Так, он знает названия всех полевых трав, животных и камней. Он знает, какими травами лечат болезни, не затруднится узнать, сколько лошади или корове лет. Глядя на заход солнца, на луну, на птиц, он может сказать, какая завтра будет погода. Да и не один Терентий так разумен. Силантий Силыч, кабатчик, огородник, пастух, вообще вся деревня, знают столько же, сколько и он. Учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и травы.

Данилка глядит на Терентия и с жадностью вникает в каждое его слово. Весной, когда еще не надоели тепло и однообразная зелень полей, когда всё ново и дышит свежестью, кому не интересно слушать про золотистых майских жуков, про журавлей, про колосящийся хлеб и журчащие ручьи?

Оба, сапожник и сирота, идут по полю, говорят без умолку и не утомляются. Они без конца бы ходили по белу свету. Идут они и в разговорах про красоту земли не замечают, что за ними следом семенит маленькая, тщедушная нищенка. Она тяжело ступает и задыхается. Слезы повисли на ее глазах. Она рада бы оставить этих неутомимых странников, но куда и к кому может она уйти? У нее нет ни дома, ни родных. Хочешь не хочешь, а иди и слушай разговоры.

Перед полуднем все трое садятся на берегу реки. Данило вынимает из мешка кусок измокшего, превратившегося в кашицу хлеба, и путники начинают есть. Закусив хлебом, Терентий молится богу, потом растягивается на песчаном берегу и засыпает. Пока он спит, мальчик глядит на воду и думает. Много у него разных дум. Недавно он видел грозу, пчел, муравьев, поезд, теперь же перед его глазами суетятся рыбешки. Одни рыбки с вершок и больше, другие не длиннее ногтя. От одного берега к другому, подняв вверх голову, проплывает гадюка.

Только к вечеру наши странники возвращаются в деревню. Дети идут на ночлег в заброшенный сарай, где прежде ссыпался общественный хлеб, а Терентий, простившись с ними, направляется к кабаку. Прижавшись друг к другу, дети лежат на соломе и дремлют.

Мальчик не спит. Он смотрит в темноту, и ему кажется, что он видит всё, что видел днем: тучи, яркое солнце, птиц, рыбешек, долговязого Терентия. Изобилие впечатлений, утомление и голод берут свое. Он горит, как в огне, и ворочается с боку на бок. Ему хочется высказать кому-нибудь всё то, что теперь мерещится ему в потемках и волнует душу, но высказать некому. Фекла еще мала и не понять ей.

«Ужо завтра Терентию расскажу...» — думает мальчик.

Засыпают дети, думая о бесприютном сапожнике. А ночью приходит к ним Терентий, крестит их и кладет им под головы хлеба. И такую любовь не видит никто. Видит ее разве одна только луна, которая плывет по небу и ласково, сквозь дырявую стреху, заглядывает в заброшенный сарай.

**ЗЕРКАЛО**

Подновогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и утомленными, полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало.

Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкий, бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей, отражение ее лица, рук, зеркальной рамы — всё это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Море колеблется, мигает, изредка вспыхивает заревом...

Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или бодрствует, но, тем не менее, она видит. Сначала видит она только улыбку и мягкое, полное прелести выражение чьих-то глаз, потом же на колеблющемся сером фоне постепенно проясняются контуры головы, лицо, брови, борода. Это он, суженый, предмет долгих мечтаний и надежд. Суженый для Нелли составляет всё: смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. Вне его, как и на сером фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И немудрено поэтому, что, видя перед собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует наслаждение, невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге. Далее она слышит его голос, видит, как живет с ним под одной кровлей, как ее жизнь постепенно сливается с его жизнью. На сером фоне бегут месяцы, годы... и Нелли отчетливо, во всех подробностях, видит свое будущее.

На сером фоне мелькают картина за картиной. Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь стучится к уездному врачу Степану Лукичу. За воротами лениво и хрипло лает старый пес. В докторских окнах потемки. Кругом тишина.

— Ради бога... ради бога! — шепчет Нелли.

Но вот наконец скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку.

— Доктор дома?

— Спят-с... — шепчет кухарка в рукав, словно боясь разбудить своего барина. — Только что с эпидемии приехали. Не велено будить-с.

Но Нелли не слышит кухарки. Отстранив ее рукой, она, как сумасшедшая, бежит в докторскую квартиру. Пробежав несколько темных и душных комнат, свалив на пути два-три стула, она, наконец, находит докторскую спальню. Степан Лукич лежит у себя в постели одетый, но без сюртука и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночничок. Нелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом.

— Му... муж болен! — выговаривает она.

Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами.

— Муж болен! — продолжает Нелли, сдерживая рыдания. — Ради бога, поедемте... Скорее... как можно скорее!

— А? — мычит доктор, дуя на ладонь.

— Поедемте! И сию минуту! Иначе... иначе... страшно выговорить... Ради бога!

И бледная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания ее способны тронуть камень, но доктор глядит на нее, дует себе на ладонь и — ни с места.

— Завтра приеду... — бормочет он.

— Это невозможно! — пугается Нелли. — Я знаю, у мужа... тиф! Сейчас... сию минуту вы нужны!

— Я тово... только что приехал... — бормочет доктор. — Три дня на эпидемию ездил. И утомлен, и сам болен... Абсолютно не могу! Абсолютно! Я... я сам заразился... Вот!

И доктор сует к глазам Нелли максимальный термометр.

— Температура к сорока идет... Абсолютно не могу! Я... я даже сидеть не в состоянии. Простите: лягу...

Доктор ложится.

— Но я прошу вас, доктор! — стонет в отчаянии Нелли. — Умоляю! Помогите мне, ради бога. Соберите все ваши силы и поедемте... Я заплачу вам, доктор!

— Боже мой... да ведь я уже сказал вам! Ах!

Нелли вскакивает и нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, втолковать... Думается ей, что если бы он знал, как дорог для нее муж и как она несчастна, то забыл бы и утомление и свою болезнь. Но где взять красноречия?

— Поезжайте к земскому доктору... — слышит она голос Степана Лукича.

— Это невозможно!.. Он живет за двадцать пять верст отсюда, а время дорого. И лошадей не хватит: от нас сюда сорок верст да отсюда к земскому доктору почти столько... Нет, это невозможно! Поедемте, Степан Лукич! Я подвига прошу. Ну, совершите вы подвиг! Сжальтесь!

— Чёрт знает что... Тут жар... дурь в голове, а она не понимает. Не могу! Отстаньте.

— Но вы обязаны ехать! И не можете вы не ехать! Это эгоизм! Человек для ближнего должен жертвовать жизнью, а вы... вы отказываетесь поехать!.. Я в суд на вас подам!

Нелли чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа она способна забыть и логику, и такт, и сострадание к людям... В ответ на ее угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Нелли начинает опять умолять, взывать к состраданию, как самая последняя нищая... Наконец доктор сдается. Он медленно поднимается, отдувается, кряхтит и ищет свой сюртук.

— Вот он, сюртук! — помогает ему Нелли. — Позвольте, я его на вас надену... Вот так. Едемте. Я вам заплачу... всю жизнь буду признательна...

Но что за мука! Надевши сюртук, доктор опять ложится. Нелли поднимает его и тащит в переднюю... В передней долгая, мучительная возня с калошами, шубой... Пропала шапка... Но вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Возле нее доктор. Теперь остается только проехать сорок верст, и у ее мужа будет медицинская помощь. Над землей висит тьма: зги не видно... Дует холодный зимний ветер. Под колесами мерзлые кочки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать...

Нелли и доктор всю дорогу молчат. Их трясет ужасно, он они не чувствуют ни холода, ни тряски.

— Гони! Гони! — просит Нелли кучера.

К пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор. Нелли видит знакомые ворота, колодезь с журавлем, длинный ряд конюшен и сараев... Наконец она дома.

— Погодите, я сейчас... — говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. — Остыньте, а я пойду посмотрю, что с ним.

Вернувшись через минуту от мужа, Нелли застает доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет.

— Пожалуйте, доктор... Доктор!

— А? Спросите у Домны... — бормочет Степан Лукич.

— Что?

— На съезде говорили... Власов говорил... Кого? Что?

И Нелли, к великому своему ужасу, видит, что у доктора такой же бред, как и у ее мужа. Что делать?

— К земскому врачу! — решает она.

Засим следуют опять потемки, резкий, холодный ветер, мерзлые кочки. Страдает она и душою и телом, и, чтобы уплатить за эти страдания, у обманщицы-природы не хватит никаких средств, никаких обманов...

Видит далее она на сером фоне, как муж ее каждую весну ищет денег, чтобы уплатить проценты в банк, где заложено имение. Не спит он, не спит она, и оба до боли в мозгу думают, как бы избежать визита судебного пристава.

Видит она детей. Тут вечный страх перед простудой, скарлатиной, дифтеритом, единицами, разлукой. Из пяти-шести карапузов, наверное, умрет один.

Серый фон не свободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умереть в одно время. Один из двух, во что бы то ни стало, должен пережить похороны другого. И Нелли видит, как умирает ее муж. Это страшное несчастие представляется ей во всех своих подробностях. Она видит гроб, свечи, дьячка и даже следы, которые оставил в передней гробовщик.

— К чему это? Для чего? — спрашивает она, тупо глядя в лицо мертвого мужа.

И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти.

Что-то падает из рук Нелли и стучит о пол. Она вздрагивает, вскакивает и широко раскрывает глаза. Одно зеркало, видит она, лежит у ее ног, другое стоит по-прежнему на столе. Она смотрится в зеркало и видит бледное, заплаканное лицо. Серого фона уже нет.

«Я, кажется, уснула...» — думает она, легко вздыхая.

**КОТ**

Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза стали еще больше и загорелись страхом, когда оказалось, что это не сон... В ужасе закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на ее плечо.

— Алеша, голубчик... Проснись! Милый!.. Ах... это ужасно!

Алеша перестал храпеть и вытянул ноги. Варвара Петровна дернула его за щеку. Он потянулся, глубоко вздохнул и проснулся.

— Алеша, голубчик... Проснись. Кто-то плачет...

— Кто плачет? Что ты выдумываешь?

— Прислушайся-ка. Слышишь? Стонет кто-то... Это, должно быть, дитя к нам подкинули... Ах, не могу слышать!

Алеша приподнялся и стал слушать. В настежь открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шёпотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки... Не разберешь сразу, что это за звуки: плач ли то детский, пение ли Лазаря, вой ли... не разберешь! Одно только было ясно: звуки издавались под окном, и не одним горлом, а несколькими... Были тут дисканты, альты, тенора...

— Да это, Варя, коты! — сказал Алеша. — Дурочка!

— Коты? Не может быть! А басы же кто?

— Это свинья хрюкает. Ведь мы, не забывай, на даче... Слышишь? Так и есть, коты... Ну, успокойся; спи себе с богом.

Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза. Через пять минут Алеша заворочался и повернулся на другой бок.

— Спать не дают, чёрт бы взял!.. Орут...

Кошачье пение, между тем, шло crescendo. К певцам присоединялись, по-видимому, новые певцы, новые силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню... Нежное, как студень, piano достигало степени fortissimo, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам, с восьмыми и шестнадцатыми, третьи тянули длинную, однообразную ноту... А один кот, должно быть, самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором.

— Мал... мал... Ту... ту... ту... каррряу...

Если б не пшиканье, то и подумать нельзя было бы, что это коты поют... Варя повернулась на другой бок и проворчала что-то... Алеша вскочил, послал в воздух проклятие и запер окно. Но окно не толстая вещь: пропускает и звук, и свет, и электричество.

— Мне в восемь часов вставать надо, на службу ехать, — выругался Алеша, — а они ревут, спать не дают, дьяволы... Да замолчи хоть ты, пожалуйста. Баба! Нюнит над самым ухом! Хныкает тут! Чем же я виноват? Ведь они не мои!

— Прогони их! Голубчик!

Муж выругался, спрыгнул с кровати и пошел к окну... Ночь клонилась к утру.

Поглядев на небо, Алеша увидел одну только звездочку, да и та мерцала точно в тумане, еле-еле... В липе заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося окна. Алеша поглядел вниз на землю и увидел штук десять котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они дромадерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой вверх дном лохани, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше: любви ли к кошечке, или собственного достоинства? За любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать? В отношениях друг к другу сквозила самая утонченная ненависть... По ту сторону палисадника терлась о решетку свинья с поросятами и просилась в садик.

— Пшли! — пшикнул Алеша. — Кшш! Вы, черти! Пш!.. Фюйть!

Но коты не обратили на него внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива и не до Алеши ей было...

— Пш... пш... анафемы! Тьфу, чёрт бы вас взял совсем! Варя, дай-ка сюда графин! Мы их окатим! Вот черти!

Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник и нагнул кувшин...

— Ах, господа, господа! — услышал он над своей головой чей-то голос. — Ах, молодежь, молодежь! Ну можно ли так делать, а? Ах-ах-аххх... Молодежь!!

И за сим последовал вздох. Алеша поднял вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие, жилистые пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили... Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Его глазки светились вожделением и были полны масла, точно балет глядели.

Алеша разинул рот, побледнел и улыбнулся...

— Почивать изволите, ваше —ство? — спросил он ни к селу ни к городу.

— Нехорошо-с, милостисдарь! Вы идете против природы, молодой человек! Вы подрываете... эээ... так сказать, законы природы! Нехорошо-с! Какое вам дело? Ведь это... эээ... организм? Как по-вашему? Организм? Надо понимать! Не хвалю, милостисдарь!

Алеша струсил, пошел на цыпочках к кровати и смиренно лег. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание.

— Это наш... — прошептал Алеша... — Сам... И не спит. На котов любуется. Вот дьявол-то! Неприятно жить вместе с начальником.

— Ммолодой человек! — услышал через минуту Алеша старческий голос. — Где вы? Пожалуйте сюда!

Алеша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу.

— Видите вы этого белого кота? Как вы находите? Это мой! Манера-то, манера! Поступь!.. Поглядите-ка! Мяу, мяу... Васька! Васюшка, шельма! Усищи-то какие у паршака! Сибирский, шельма! Из мест отдаленных... хе-хе-хе... А кошечке быть... быть в беде! Хе-хе. Всегда мой кот верх брал. Вы в этом сейчас убедитесь! Манера-то, манера!

Алеша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки, увлекся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы... Так и не удалось соснуть!

В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алеша не смел. Среди них был кот его превосходительства, его начальника. Алеша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.

**КРЫЖОВНИК**

Еще с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь, — сказал Буркин. — Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли всё по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом, — сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. — Вот не ожидал! Пелагея, — обратился он к горничной, — дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся, — говорил он, раздеваясь. — Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то всё некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь... — проговорил Иван Иваныч значительно, глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся... — повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и всё нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой... — повторял он, наслаждаясь. — Ах, боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он всё плавал и нырял.

— Ах, боже мой... — говорил он. — Ах, господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата, — начал он, — я, Иван Иваныч, и другой — Николай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, всё равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства, — говорил он, бывало. — Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: a) барский дом, b) людская, c) огород, d) крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Всё с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. И конечно брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он всё просит, чтобы ногу его отыскали, и всё беспокоится; в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы, — сказал Буркин.

— После смерти жены, — продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты, — брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но всё же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова Пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, — и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, — того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат ура, и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться, — говорил он. — Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает всё, что захочу.

И всё это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я, как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и всё повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и всё обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, — продолжал Иван Иваныч, вставая. — Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не всё сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константиныч, — проговорил он умоляющим голосом, — не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И всё это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящею улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где всё — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иваныч молча разделся и лег.

— Господи, прости нас грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и всё никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

**НА РЕКЕ**

**(ВЕСЕННИЕ КАРТИНКИ)**

— Лед тронулся! — слышны крики среди ясного, весеннего дня. — Ребята, лед идет!

Лед трогается аккуратно каждую весну, но, тем не менее, ледоход всегда составляет событие и злобу дня. Заслышав крики, вы, если живете в городе, бежите к мосту, причем на лице у вас такое серьезное выражение, как будто бы на мосту совершается убийство или дневной грабеж. Такое же выражение и у мальчишек, которые бегут мимо вас, у извозчиков, у торговок. На мосту уже собралась публика. Тут гимназисты с ранцами, барыни в ватерпруфах, две-три рясы, черномазый мальчишка, держащий за уши только что сшитые сапоги, поддевки всех сортов, солдатики. Все, свесившись через перила моста, молчат, не двигаются и вопросительно глядят вниз на реку. Молчание гробовое, лишь городовой рассказывает какому-то господину в мохнатом пальто и с клапаном на спине о том, насколько прибыла вода, да изредка проезжают с шумом извозчики. Городовой говорит вполголоса. Когда речь идет об аршинах, лицо делается серьезным, вытянутым, почти испуганным, когда же он говорит о вершках, то на лице его появляется выражение жалости и нежности, как будто вершки его дети.

Свесившись через перила, вы тоже глядите на реку и — какое разочарование! — вы ожидали треска и грохота, но ничего не слышите, кроме глухого, однозвучного шума, похожего на очень отдаленный гром. Вместо чудовищной ломки, столкновений и дружного натиска, вы видите безмятежно лежащие, неподвижные груды изломанного льда, наполняющего всю реку от берега до берега. Поверхность реки изрыта и взбудоражена, точно по ней прошелся великан-пахарь и тронул ее своим громадным плугом. Воды не видно ни капли, а только лед, лед и лед. Ледяные холмы стоят неподвижно, но у вас кружится голова и кажется, что мост вместе с вами и с публикой куда-то уходит. Тяжелый мост мчится вдоль реки вместе с берегами и рассекает своими быками груды льда. Вот одна большая льдина, упершись о бык, долго не пускает мост бежать от нее, но вдруг, как живая, начинает ползти по быку вверх, прямо к вашему лицу, словно хочет проститься с вами, но, не выдержав своей тяжести, ломается на два куска и бессильно падает. Вид у льдин грустный, унылый. Они как будто сознают, что их гонят из родных мест куда-то далеко, в страшную Волгу, где, насмотревшись ужасов, они умрут, обратятся в ничто.

Скоро холмы начинают редеть, и между льдинами показывается темная, стремительно бегущая вода. Теперь обман исчезает и вы начинаете видеть, что двигается не мост, а река. К вечеру река уже почти совсем чиста от льда; изредка попадаются на ней отставшие льдины, но их так мало, что они не мешают фонарям глядеться в воду, как в зеркало.

— Это еще не ледоход! — говорят на мосту. — А вот будет ледоход, когда лед с верховьев пойдет!.. Нынче в обед приехал один из N—ского уезда. Сказывает, что там уже тронулся лед... Стало быть, ожидать его здесь нужно завтра.

Действительно, на другой день пасмурно, дует холодом и сыростью. Такая резкая перемена погоды показывает, что где-то на большом пространстве идет лед... На мосту стоит публика и опять глядит на реку. Вода стоит высоко, но поверхность еще чиста и гладка. Зрители нетерпеливо зевают и пожимаются от холода. Но вот показывается на поверхности реки большая льдяная глыба. За ней, как за козлом в стаде, в почтительном отдалении тянется несколько глыб поменьше... Слышится удар глыбы о бык моста. Она разбилась, и части ее в смятении, кружась и толкаясь, бегут под мост... На повороте показывается новая глыба, за ней другая, третья... и скоро воздух наполняется глухим шумом, который слышался вчера. Вы видите уже не тутошний лед, а чужой, с далеких верховьев.

Скоро и этот лед пропадает, но с его уходом еще не оканчивается весеннее оживление реки. Тотчас же после ледохода начинают показываться плоты.

Плоты следует наблюдать не в городе, а где-нибудь подальше, хотя бы у тех таинственных верховьев, откуда шел последний лед.

Вот по речонке Жиже, лавируя и извиваясь змеей, несется длинный плот. Летом Жижа представляет собой лужицу, которую вы не увидите из-за густого ивняка и перейдете вброд где хотите, теперь же она неузнаваема. Глядите на нее и диву даетесь: откуда могла взяться такая прыть? Она надувается, топорщится и грозит затопить всю землю. С большим плотом она обращается, как с маленькой щепкой. Этот плот запоздал и принадлежит к числу последних, которым грозит возможность застрять на полдороге. Купец Макитров вчера уже пустил шесть плотов; на этом следовало бы и остановиться, но жадность одолела, и он сегодня пустил еще седьмой, хотя его и предупредили, что вода пошла на убыль.

На плоту копошится человек двадцать мужиков и баб. Настоящий мужик, который сыт и одет, не пойдет в сплавщики, а потому вы видите здесь одну только сплошную голь. Народишко всё малорослый, сутуловатый, угрюмого вида, словно огрызенный. Все в лаптях и в такой одежонке, что, кажется, если взять мужика за плечи и хорошо потрясти его, то висящие на нем лохмотья посыплются на землю. У каждого из них свое лицо: есть рыжие, как глина, и смуглые, как арабы; у одного на лице волос едва пробивается, у другого всё лицо космато, как у зверя; у каждого своя рваная шапка, свои лохмотья, свой голос, но, тем не менее, все они непривычному глазу кажутся одинаковыми, так что долго нужно побыть между ними, чтобы научиться разбирать, кто из них Митрий, кто Иван, кто Кузьма. Такое разительное сходство придается им одной общей печатью, которая лежит на всех бледных, угрюмых лицах, на всех лохмотьях и рваных шапках, — невылазной бедностью.

Работа их непрерывна. Что ни шаг, то Жижа делает поворот, а потому то и дело приходится перебегать с краю на край и работать шестами, чтобы несущийся плот не налетел на берег или не наскочил на утес, о который он мог бы разорваться... Все красны, вспотели и тяжело дышат... Ни один не сидит, хотя среди плота и раскидана солома для сиденья. Бабы, с заболтанными, мокрыми подолами, тощие и оборванные, делают то же, что и мужчины...

Оба берега залиты ярким светом полуденного солнца, и перед глазами сплавщиков мелькают картины одна другой краше. С быстротою птицы проносятся перед ними леса, пашни, деревни, барские усадьбы... Вот они видят перед собой на высоком крутом берегу белую церковь с зеленым куполом. Прошла минута, и церкви уж нет, а видна только равнина, далеко залитая сердитой Жижей; за равниной тянется черная пашня, над которой пестрят не то грачи, не то галки... Вот высокий и длинный, как грабли, мужик гонит по берегу тощую корову с одним рогом... Далее барская усадьба: на балкончике стоит барыня с зонтиком и спешит указать девочке на плот; какой-то молодой человек в венгерке и высоких сапогах заглядывает в вершу... Потом опять пашня, лес, деревня... Если теперь оглянуться назад, то белая церковь едва белеет на горизонте, а мужика с коровой и след простыл... Но не думайте, что плот далеко ушел. Проходит еще немного времени, и сплавщики видят на горизонте что-то белое... Начинают вглядываться и — что за чудеса? — они несутся к той церкви, которую только что оставили назади... Чем ближе подходят к ней, тем больше убеждаются, что это она, та самая, на крутом берегу и с зеленым куполом... Вот уж видны ее окна, крест на верхушке, труба на крыше... Проехать еще минутку, и сплавщики будут у самой церкви, но плот круто поворачивает, и церковь опять остается назади...

Улучив минутку, три-четыре сплавщика сходятся на средине плота, глядят друг на друга и тяжело дышат. Это они отдыхают. Между ними вы увидите единственного человека в сапогах, сапогах ужасных, кривых, рыжих, но всё-таки сапогах. Храм оставленный — всё храм! В сапоги засунуты узкие суконные брючки, до того никуда не годные, что и критиковать их даже грех. Человек в сапогах одет в рваный полушубок, сквозь дыры которого видна жилетка. На большой голове его торчит бросовая гимназическая фуражка с поломанным козырьком и донельзя грязными кантами. Лицо его, испитое и обрюзглое, не похоже на лица остальных сплавщиков... Одним словом, это личность, без которой теперь на Руси не обходится ни одна артель, ни один кабак, ни один сброд нищих и убогих... Эта личность страшно пришиблена судьбой, проникнута насквозь сознанием своей низменности, а потому всячески старается скрыть свое «благородство», в котором ее подозревают... В рваном деревенском полушубке ей гораздо легче дышится, чем в потертом пальто или жилетке, которую вы, расщедрившись, вздумаете ей пожертвовать. Расспрашивать, кто она, откуда, кем была и о чем теперь помышляет, жалко да и бесполезно. Спросите только, и она наврет вам, что она была и в офицерах, и в актерах, и в заточении...

На плоту зовут эту личность Диомидом. В сплавщики Диомид попал не столько из желания заработать три-четыре рубля, сколько обрадовавшись случаю проехать задаром в город и избежать таким образом пешего хождения... Новизна дела занимает его, и он всячески старается не уступать мужикам в трудолюбии. Он так же, как и они, бегает с края на край, суетится, тычет шестом, потеет, еле дышит, но непривычка сказывается в каждом его движении. Не понимает он дела, да кроме того слабосилен и скоро утомляется... Как только увидит, что двое-трое остановились отдохнуть, он непременно пристанет к ним.

Отдыхающие глядят друг на друга и начинают разговор. Тема для разговоров на плотах всегда одна и та же:

— Нонешние времена, это которое... сущая беда! — лепечет козлиная бородка в шапке с ушами. — Годов пять назад дешевле восьми рублей никакой сплавщик не брал. За восемь, сделай милость, поплыву, а дешевле не желаю... А нынче еле четыре дают, а? Сущее наказание! И отчего оно так стало, господь его знает!

— Народу много расплодилось... — хрипит борода лопатой. — Некуда его девать, народ-то этот. Ты за четыре не пойдешь, так другой за три пойдет. Прежде, бывало, ты бабу на плоту и за деньги не увидишь, а теперя, вишь, сколько их насажали! А баба глупа, она и за рупь пойдет...

— Четыре рубля... — бормочет козлиная бородка, задумчиво глядя на несущийся берег. — Четыре... История!

Диомид поехал не из-за денег, для него всё равно, что четыре, что восемь рублей, но, чтобы ввязаться в разговор, он считает нужным поддакнуть.

— М-да... — говорит он. — Деньги паршивые. А всё оттого, братцы, что купец разжирел. Боится с деньгами расстаться...

Собеседники не отвечают Диомиду. Они глядят вперед, куда летит плот, и видят белеющее пятно. Плот опять несет к той же белой церкви. Божий храм ласково мигает им солнцем, которое отражается в его кресте и в лоснящемся зеленом куполе, и словно обещает не упускать их из виду.

— Одначе какие выкрутасы тут река делает! — говорит Диомид. — Плывем, плывем, и всё на одном месте вертимся...

— Ежели прямо в город ехать, то верст пятьдесят будет, а ежели рекой, то и шестьсот наберется. Эх, дал бы только бог, вода не сбывала, завтра ввечеру на месте будем...

День проходит благополучно, без приключений, но к вечеру плот наскакивает на беду. Сплавщики вдруг сквозь начинающиеся сумерки усматривают на реке препятствие: у одного берега стоит крепко привязанный паром, а от парома к другому берегу тянутся жидкие, едва только сколоченные лавы. Как проехать? На обоих берегах сильное движение. Несколько человек бегут навстречу плоту, машут руками и кричат:

— Стой! Стой! Черти собачие!

Оторопевшие сплавщики останавливают плот.

— Не сметь плыть дальше! — кричит какой-то толстяк с красным лицом и в длинном драповом пальто. — Я вас так пугну к чёрту с вашими дровами, что вы живы не останетесь! У меня уж и так два раза лавы ломали, а вам не позволю!

Сплавщики переглядываются, мнутся и снимают шапки.

— Ваше степенство, как же нам быть-то? — спрашивает один.

— Как знаете, а ломать лавы не позволю. У меня народ то и дело на фабрику ходит и без лав никак нельзя.

— Ваше благородие, уж вы будьте благонадежны! — галдят сплавщики плачущими голосами. — Сделайте милость! Мы ваши лавы соберем и к месту приставим, всё как следовает... по совести! Заставьте вечно бога молить!

— Ну да, знаю вас! Не сметь!

Красная физиономия грозит рукой и уходит. Сплавщики вешают носы.

— Как он смеет? — кипятится Диомид. — Что за самовольство? Не имеет он права до положенного срока лавы ставить! Ребята, вы наплюйте! Нечего на болвана глядеть!

Долго кипятится и ораторствует Диомид, до самой ночи сплавщики ходят по берегу без шапок и кланяются, но ничто не помогает... Приходится мириться с судьбой.

Всю ночь около лав горит огонек. Сплавщики, измокшие и продрогшие, молча и не давая себе ни минуты отдыха, перетаскивают через лавы свои бревна и увязывают их в новый плот. Над этой египетской работой копошатся они, как муравьи, до самого утра.

А утром опять плыть!

**ПЕРЕСОЛИЛ**

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию «Гнилушки». До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать—сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился землемер к станционному жандарму.

— Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых... Да вам куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.

— Что ж? — зевнул жандарм. — Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

— Чёрт знает какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где у нее зад, где перед...

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад...

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачивающей тряской.

— До-о-едем! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь... Но-о-о, прокля...тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю... Поедешь по ней, так наверно заедешь к чёрту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря... Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны всё поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. — Ни кола ни двора. Не ровен час — нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали... Да и возница ненадежный... Ишь, какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя зовут?

— Меня-то? Клим.

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

— Ничего, бог миловал... Кому ж шалить?

— Это хорошо, что не шалят... Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, — соврал землемер. — А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...

Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? — подумал землемер. — Ехал всё прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи!»

— Послушай, — обратился он к вознице. — Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль... Я люблю с разбойниками драться... На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что... что, понимаешь, богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и.... и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

— Да, брат... — продолжал землемер. — Не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит... Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный... Я вот еду, а начальству известно... так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы... По... по...постой! — заорал вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес... — подумал землемер. — А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волнения... Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбежалась... Уж как разбежится, так никаким средствием ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь... Слышишь? Попридержи!

— Зачем?

— А затем... затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали... Они обещали догнать меня в этом лесу... С ними веселей будет ехать... Народ здоровый, коренастый... у каждого по пистолету... Что это ты всё оглядываешься и движешься, как на иголках? а? Я, брат, тово... брат... На меня нечего оглядываться... интересного во мне ничего нет... Разве вот револьверы только... Изволь, если хочешь, я их выну, покажу... Изволь...

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

— Караул! — заголосил он. — Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста — и всё смолкло... Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал... испугался, дурак... Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл... Как быть?» — Клим! Клим!

— Клим!.. — ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

— Климушка! — закричал он. — Голубчик! Где ты, Климушка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У... убьешь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался... Садись!

— Бог с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая в телегу. — Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

**ОПЕКУН**

Я поборол свою робость и вошел в кабинет генерала Шмыгалова. Генерал сидел у стола и раскладывал пасьянс «каприз де дам».

— Что вам, милый мой? — спросил он меня ласково, кивнув на кресло.

— Я к вам, ваше —ство, по делу, — сказал я, садясь и неизвестно для чего застегивая свой сюртук. — Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришел просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максимовны.

Генерал медленно повернул ко мне свое лицо, со вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. Он долго шевелил губами и выговорил:

— Вы... тово?.. Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я вас спрашиваю? Вы... осмеливаетесь? — прошипел он, багровея. — Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос?! Осмеливаетесь шутить... милостисдарь...

И, топнув ногою, Шмыгалов крикнул так громко, что даже дрогнули стекла.

— Встать!! Вы забываете, с кем вы говорите! Извольте-с убираться и не показываться мне на глаза! Извольте выйти! Вон-с!

— Но я хочу жениться, ваше превосходительство!

— Можете жениться в другом месте, но не у меня! Вы еще не доросли до моей племянницы, милостисдарь! Вы ей не пара! Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое... предложение! С вашей стороны это дерзость! Прощаю вам, мальчишка, и прошу вас больше меня не беспокоить!

— Гм... Вы уже пятерых женихов спровадили таким образом... Ну, шестого вам не удастся спровадить. Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосходительство... Даю вам честное и благородное слово, что, женившись на Варе, я не потребую от вас ни копейки из тех денег, которые вы растратили, будучи Вариным опекуном. Даю честное слово!

— Повторите, что вы сказали! — проговорил генерал каким-то неестественно-трескучим голосом, нагнувшись и подбежав ко мне рысцой, как раздразненный гусак. — Повтори! Повтори, негодяй!

Я повторил. Генерал побагровел и забегал.

— Этого еще недоставало! — задребезжал он, бегая и поднимая вверх руки. — Недоставало еще, чтобы мои подчиненные наносили мне страшные, несмываемые оскорбления в моем же доме! Боже мой, до чего я дожил! Мне... дурно!

— Но уверяю вас, ваше превосходительство! Не только не потребую, но даже ни единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили Варины деньги! И Варе прикажу молчать! Честное слово! Чего же вы кипятитесь, комод ломаете? Не отдам под суд!

— Какой-нибудь мальчишка, молокосос... нищий... осмеливается говорить прямо в лицо такие мерзости! Извольте выйти, молодой человек, и помните, что я этого никогда не забуду! Вы меня страшно оскорбили! Впрочем... прощаю вам! Вы сказали эту дерзость по легкомыслию своему, по глупости... Ах, не извольте трогать у меня на столе своими пальцами, чёрт вас возьми! Не трогайте карт! Уходите, я занят!

— Я ничего не трогаю! Что вы выдумываете? Я даю честное слово, генерал! Даю слово, что даже не намекну! И Варе запрещу требовать с вас! Что же вам еще нужно? Чудак вы, ей-богу... Растратили вы десять тысяч, оставленные ее отцом... Ну что ж? Десять тысяч не велики деньги... Можно простить...

— Я ничего не растрачивал... да-с! Я вам сейчас докажу! Сейчас вот... Я докажу!

Генерал дрожащими руками выдвинул из стола ящик, вынул оттуда кипу каких-то бумаг и, красный как рак, начал перелистывать. Перелистывал он долго, медленно и без цели. Бедняга был страшно взволнован и сконфужен. К его счастью, в кабинет вошел лакей и доложил о поданном обеде.

— Хорошо... После обеда я вам докажу! — забормотал генерал, пряча бумаги. — Раз навсегда... во избежание сплетни... Дайте только пообедать... увидите! Какой-нибудь, прости господи... молокосос, шаромыжка... молоко на губах не обсохло... Идите обедать! Я после обеда... вам...

Мы пошли обедать. Во время первого и второго блюда генерал был сердит и нахмурен. Он с остервенением солил себе суп, рычал, как отдаленный гром, и громко двигался на стуле.

— Чего ты сегодня такой злой? — заметила ему Варя. — Не нравишься ты мне, когда ты такой... право...

— Как ты смеешь говорить, что я тебе не нравлюсь! — окрысился на нее генерал.

Во время третьего и последнего блюда Шмыгалов глубоко вздохнул и замигал глазами. По лицу его разлилось выражение пришибленности, забитости... Он стал казаться таким несчастным, обиженным! На лбу и на носу его выступил крупный пот. После обеда генерал пригласил меня к себе в кабинет.

— Голубчик мой! — начал он, не глядя на меня и теребя в руках мою фалду. — Берите Варю, я согласен... Вы хороший, добрый человек... Согласен... Благословляю вас... ее и тебя, мои ангелы... Ты меня извини, что до обеда я бранил тебя здесь... сердился... Это ведь я любя... отечески... Но только тово... я истратил не десять тысяч, а тово... шестнадцать... Я и те, что тетка Наталья ей оставила, ухнул... проиграл... Давай на радостях... шампанского стебанем... Простил?

И генерал уставил на меня свои серые, готовые заплакать и в то же время ликующие глаза. Я простил ему еще шесть тысяч и женился на Варе.

Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой!

**ПЕРЕПОЛОХ**

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок... — подумала Машенька, — или с мужем поссорилась...»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало... Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

— О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки... Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

— Pardon1, я... я нечаянно рассыпала... зацепила рукавом...

И, сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха... Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель — всё носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который всё еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли всё это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачем это меня... обыскивали? — спросила у нее гувернантка.

— У барыни пропала брошка в две тысячи... — сказала Лиза.

— Да, но зачем же меня обыскивать?

— Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас раздевали всех догола и обыскивали... А я, барышня, вот как перед богом... Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

— Но... зачем же меня обыскивать? — продолжала недоумевать гувернантка.

— Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками всё обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

— Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования. — Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

— В чужих людях живете, барышня, — вздохнула Лиза. — Хоть вы и барышня, а всё же... как бы прислуга... Это не то, что у папаши с мамашей жить...

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь... Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь будет!? В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам... — думала Машенька, дрожа. — Я объясню им, присягну... Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого — от страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

— Пожалуйте кушать! — позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать... За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом, за другим — Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

— Что у нас к третьему блюду? — спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.

— Эстуржон аля рюсс! — ответил лакей.

— Это, Феня, я заказал... — поторопился сказать Николай Сергеич. — Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, ma chère2, то пусть не подают. Я ведь это так... между прочим...

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

— Ну, перестанем волноваться, — сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь также сладко. — Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

— Мне не жалко двух тысяч! — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. — Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту...

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

— Pardon, — пробормотала она. — Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

— Бог знает что! — проговорил Николай Сергеич, морщась. — Нужно было делать у нее обыск! Как это, право... некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку, — сказала Федосья Васильевна, — но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.

— Право, Феня, некстати... Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

— Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вот и всё. И я найду эту брошку! — она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. — А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню! О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но всё это мечты, в действительности же оставалось только одно — поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что кажется, всё на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. — Можно?

— Войдите.

Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

— Это что же? — спросил он, указывая на корзину.

— Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

— Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачем? Обыскали, а вы того... что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.

— Если уж вы так оскорблены, — продолжал Николай Сергеич, — то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

— Гм... Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены... Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин...

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

— Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем... Вам надо, чтобы меня совесть мучила...

— Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, — сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. — Зачем же вам мучиться?

— Конечно... Но вы все-таки того... не уезжайте... Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

— Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка, — проговорил он. — Что же мне, на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже перед смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— Я взял у жены брошку! — быстро сказал Николай Сергеич. — Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взял... Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность... Ради бога, никому ни слова, ни полнамека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

— И удивляться нечего... — продолжал Николай Сергеич, помолчав немного. — Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она... не дает. Ведь этот дом и всё это мой отец наживал, Марья Андреевна! Всё ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и... всё мое! А она забрала, завладела всем... Не судиться же мне с ней, согласитесь... Прошу вас, убедительно, извините и... и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner3. Остаетесь?

— Нет! — сказала Машенька решительно, начиная дрожать. — Оставьте меня, умоляю вас.

— Ну, бог с вами, — вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. — Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел... Так, стало быть, не остаетесь? Я понимаю... Иначе и быть не может... Да, конечно... Вам-то хорошо, а вот мне так — тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты... управляющие, агрономы, чёрт бы их взял. Закладывают, перезакладывают... Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.

— Николай Сергеич! — послышался из залы голос Федосьи Васильевны. — Агния, позови барина!

— Так не остаетесь? — спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери. — А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам... толковали бы. А? Останьтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.

**ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК**

В начале апреля 1870 года моя матушка Клавдия Архиповна, вдова поручика, получила из Петербурга, от своего брата Ивана, тайного советника, письмо, в котором, между прочим, было написано: «Болезнь печени вынуждает меня каждое лето жить за границей, а так как в настоящее время у меня нет свободных денег для поездки в Мариенбад, то весьма возможно, что этим летом я буду жить у тебя в твоей Кочуевке, дорогая сестра...»

Прочитав письмо, моя матушка побледнела и затряслась всем телом, потом на лице ее появилось выражение смеха и плача. Она заплакала и засмеялась. Эта борьба плача со смехом всегда напоминает мне мельканье и треск ярко горящей свечи, когда на нее брызжут водой. Прочитав письмо еще раз, матушка созвала всех домочадцев и прерывающимся от волненья голосом стала объяснять нам, что всех братьев Гундасовых было четверо: один Гундасов помер еще младенцем, другой пошел по военной и тоже помер, третий, не в обиду будь ему сказано, актер, четвертый же...

— До четвертого рукой не достанешь, — всхлипывала матушка. — Родной мне брат, вместе росли, а я вся дрожу и дрожу... Ведь тайный советник, генерал! Как я его, ангела моего, встречу? О чем я, дура необразованная, разговаривать с ним стану? Пятнадцать лет его не видала! Андрюшенька, — обратилась ко мне матушка, — радуйся, дурачок! Это на твое счастье бог его посылает!

После того, как мы узнали самую подробную историю Гундасовых, в усадьбе поднялась суматоха, какую я привык видеть только перед святками. Были пощажены только небесный свод и вода в реке, всё же остальное подверглось чистке, мытью и окраске. Если бы небо было ниже и меньше, а река не бежала так быстро, то и их бы поскребли кирпичом и потерли мочалкой. Стены были белы как снег, но их побелили; полы сияли и лоснились, но их мыли каждый день. Кота Куцего (в бытность мою младенцем я ножом, которым колют сахар, отхватил ему добрую четверть хвоста, отчего он и получил прозвище Куцего) отнесли из хором в кухню и отдали под начало Анисьи; Федьке сказано было, что если собаки будут подходить близко к крыльцу, то его «бог накажет». Но никому так не доставалось, как бедным диванам, креслам и коврам! Никогда в другое время их не били так сильно палками, как теперь, в ожидании гостя. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то и дело взлетали к самому небу.

Приходил из Новостроевки портной Спиридон, единственный во всем уезде портной, дерзавший шить на господ. Это был человек непьющий, работящий и способный, не лишенный некоторой фантазии и чувства пластики, но, тем не менее, шивший отвратительно. Всё дело портили сомнения... Мысль, что он шьет недостаточно модно, заставляла его переделывать каждую вещь по пяти раз, ходить пешком в город специально за тем только, чтобы изучать франтов и в конце концов одевать нас в костюмы, которые даже карикатурист назвал бы утрировкой и шаржем. Мы щеголяли в невозможно узких брюках и в таких коротких пиджаках, что в присутствии барышень нам всегда становилось совестно.

Этот Спиридон долго снимал с меня мерку. Он вымерил всего меня вдоль и поперек, точно собирался обить меня обручами, что-то долго записывал на бумажке толстым карандашом и всю свою мерку иззубрил треугольными значками. Покончив со мной, он принялся за моего учителя Егора Алексеевича Победимского. Мой незабвенный учитель находился тогда в поре, когда люди следят за ростом своих усов и относятся критически к платью, а потому можете себе представить священный ужас, с каким Спиридон приступил к моему учителю! Егор Алексеевич должен был откинуть назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридон вымерял его несколько раз, для чего ходил вокруг него, как влюбленный голубь около голубки, становился на одно колено, изгибался крючком... Моя матушка, томная, замученная хлопотами и угоревшая от утюгов, глядела на всю эту длинную процедуру и говорила:

— Смотри же, Спиридон, бог с тебя взыщет, если сукно испортишь! И счастья тебе не будет, коли не потрафишь!

От слов матушки Спиридона бросало то в жар, то в пот, потому что он был уверен, что не потрафит. За шитье моего костюма он взял 1 руб. 20 коп., а за костюм Победимского 2 руб., причем сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это не может показаться дорого, тем более, что от Новостроевки до нас было девять верст, а портной приходил для примерки раза четыре. Когда мы, примеряя, натягивали на себя узкие брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка всякий раз брезгливо морщилась и удивлялась:

— Бог знает какая нынче мода пошла! Даже глядеть совестно. Не будь братец столичным, право, не стала бы я шить вам по-модному!

Спиридон, радуясь, что бранят не его, а моду, пожимал плечами и вздыхал, как бы желая сказать: «Ничего не поделаешь: дух времени!»

Волнение, с которым мы ожидали приезда гостя, можно сравнить только с тем напряжением, с каким спириты с минуты на минуту ожидают появления духа. Матушка носилась с мигренью и ежеминутно плакала. Я потерял аппетит, плохо спал и не учил уроков. Даже во сне меня не оставляло желание поскорее увидеть генерала, то есть человека с эполетами, с шитым воротником, который прет под самые уши, и с обнаженной саблей в руке — точь-в-точь такого, какой висел у нас в зале над диваном и таращил страшные черные глаза на всякого, кто осмеливался глядеть на него. Один только Победимский чувствовал себя в своей тарелке. Он не ужасался, не радовался, а только изредка, выслушивая от матушки историю рода Гундасовых, говорил:

— Да, приятно будет поговорить со свежим человеком.

На моего учителя у нас в усадьбе глядели как на натуру исключительную. Это был молодой человек, лет двадцати, угреватый, лохматый, с маленьким лбом и с необычайно длинным носом. Нос был так велик, что мой учитель, разглядывая что-нибудь, должен был наклонять голову набок по-птичьи. По нашим понятиям, во всей губернии не было человека умнее, образованнее и галантнее. Кончил он шесть классов гимназии, потом поступил в ветеринарный институт, откуда был исключен, не проучившись и полугода. Причину исключения он тщательно скрывал, что давало возможность всякому желающему видеть в моем воспитателе человека пострадавшего и до некоторой степени таинственного. Говорил он мало и только об умном, ел в пост скоромное и на окружающую жизнь иначе не глядел, как только свысока и презрительно, что, впрочем, не мешало ему принимать от моей матушки подарки в виде костюмов и рисовать на моих змеях глупые рожи с красными зубами. Матушка не любила его за «гордость», но преклонялась пред его умом.

Гостя недолго ждали. В начале мая на двух возах прибыли со станции большие чемоданы. Эти чемоданы глядели так величественно, что, снимая их с возов, кучера машинально поснимали шапки.

«Должно быть, — подумал я, — в этих сундуках мундиры и порох...»

Почему порох? Вероятно, понятие о генеральстве в моей голове было тесно связано с пушками и порохом.

Утром десятого мая, когда я проснулся, нянька шёпотом объявила мне, что «приехали дяденька». Я быстро оделся и, кое-как умывшись, не молясь богу, полетел из спальной. В сенях я наткнулся на высокого, плотного господина, с фешенебельными бакенами и в франтовском пальто. Помертвев от священного ужаса, я подошел к нему и, припоминая составленный матушкою церемониал, шаркнул перед ним ножкой, низко поклонился и потянулся к ручке, но господин не дал мне поцеловать руку и объявил, что он не дядя, а только дядин камердинер Петр. Вид этого Петра, одетого гораздо богаче, чем я и Победимский, поверг меня в крайнее изумление, не оставляющее меня, говоря по правде, и до сегодня: неужели такие солидные, почтенные люди, с умными и строгими лицами, могут быть лакеями? И ради чего?

Петр сказал мне, что дядя с матушкой в саду. Я бросился в сад.

Природа, не знавшая истории рода Гундасовых и чина моего дядюшки, чувствовала себя гораздо свободнее и развязнее, чем я. В саду происходила возня, какая бывает только на ярмарках. Бесчисленные скворцы, рассекая воздух и прыгая по аллеям, с криком и шумом гонялись за майскими жуками. В сиреневых кустах, которые своими нежными пахучими цветами лезли прямо в лицо, копошились воробьи. Куда ни повернешься, отовсюду неслись пение иволги, писканье удода и кобчика. В другое время я начал бы гоняться за стрекозами или бросать камнями в ворона, который сидел на невысокой копне под осиной и поворачивал в стороны свой тупой нос, теперь же было не до шалостей. У меня билось сердце и холодело в животе: я готовился увидеть человека с эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами!

Но представьте мое разочарование! Рядом с матушкой гулял по саду тоненький, маленький франт в белой шёлковой паре и в белой фуражке. Заложив руки в карманы, откинув назад голову, то и дело забегая вперед матушки, он казался совсем молодым человеком. Во всей фигуре его было столько движения и жизни, что предательскую старость я мог увидеть только подойдя поближе сзади и взглянув на края фуражки, где серебрились коротко остриженные волосы. Вместо солидности и генеральской тугоподвижности, я увидел почти мальчишескую вертлявость; вместо воротника, прущего под уши, — обыкновенный голубой галстук. Матушка и дядя гуляли по аллее и беседовали. Я тихо подошел к ним сзади и стал ждать, когда кто-нибудь из них оглянется.

— Какой у тебя здесь восторг, Кладя! — говорил дядя. — Как мило и хорошо! Знай я раньше, что у тебя здесь такая прелесть, ни за что бы в те годы не ездил за границу.

Дядя быстро нагнулся и понюхал тюльпан. Что только ни попадалось ему на глаза, всё возбуждало в нем восторг и любопытство, словно отродясь он не видел сада и солнечного дня. Странный человек двигался как на пружинах и болтал без умолку, не давая матушке сказать ни одного слова. Вдруг на повороте аллеи из-за бузины показался Победимский. Появление его было так неожиданно, что дядя вздрогнул и отступил шаг назад. В этот раз мой учитель был в своей парадной крылатке с рукавами, в которой он, в особенности сзади, очень походил на ветряную мельницу. Вид у него был величественный и торжественный. Прижав по-испански шляпу к груди, он сделал шаг к дяде и поклонился, как кланяются маркизы в мелодрамах: вперед и несколько набок.

— Честь имею представиться вашему высокопревосходительству, — сказал он громко, — педагог и преподаватель вашего племянника, бывший слушатель ветеринарного института, дворянин Победимский!

Такая учтивость учителя очень понравилась моей матушке. Она улыбнулась и замерла от сладкого ожидания, что он скажет еще что-нибудь умное, но мой учитель, ожидавший, что на его величественное обращение ему и ответят величественно, то есть скажут по-генеральски «гм» и протянут два пальца, сильно сконфузился и оробел, когда дядя приветливо засмеялся и крепко пожал ему руку. Он пробормотал еще что-то несвязное, закашлялся и отошел в сторону.

— Ну, не прелесть ли? — засмеялся дядя. — Ты погляди: надел размахайку и думает, что он очень умный человек! Нравится мне это, клянусь богом!.. Сколько ведь в ней, в этой глупой размахайке, юного апломба, жизни! А это что за мальчик? — спросил он, вдруг обернувшись и увидев меня.

— Это мой Андрюшенька, — отрекомендовала меня матушка, зардевшись. — Утешение мое...

Я шаркнул по песку ножкой и низко поклонился.

— Молодец мальчик... молодец мальчик... — забормотал дядя, отнимая от моих губ руку и гладя меня по голове. — Тебя Андрюшей зовут? Так, так... М-да... клянусь богом... Учишься?

Матушка, привирая и преувеличивая, как все матери, начала описывать мои успехи по наукам и благонравие, а я шел около дяди и, согласно церемониалу, не переставал отвешивать низкие поклоны. Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тот счет, что с моими замечательными способностями мне не мешало бы поступить в кадетский корпус на казенный счет, и когда я, согласно церемониалу, должен был заплакать и попросить у дядюшки протекции, дядя вдруг остановился и в изумлении расставил руки.

— Б-батюшки! Это же что? — спросил он.

Прямо на нас по аллее шла Татьяна Ивановна, жена Федора Петровича, нашего управляющего. Она несла белую накрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо нас, она робко, сквозь ресницы взглянула на гостя и зарделась.

— Час от часу не легче... — процедил дядя сквозь зубы, ласково глядя ей вслед. — У тебя, сестра, что ни шаг, то сюрприз... клянусь богом.

— Она у нас красавица... — сказала матушка. — Федору ее из посада высватали... за сто верст отсюда...

Татьяну Ивановну не всякий назвал бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лет двадцати, стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лице и во всей фигуре ее не было ни одной крупной черты, ни одного смелого штриха, на котором мог бы остановиться глаз, точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохновения и уверенности. Татьяна Ивановна была робка, конфузлива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила, редко смеялась, и вся жизнь ее была так же ровна и плоска, как лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя щурил ей вслед глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрела на его улыбающееся лицо и сделалась серьезной.

— А вы, братец, так-таки и не женились! — вздохнула она.

— Не женился...

— Почему? — тихо спросила матушка.

— Как тебе сказать, жизнь так сложилась. Смолоду слишком заработался, не до жизни было, а когда жить захотелось — оглянулся, то за моей спиной уж 50 лет стояло. Не успел! Впрочем, говорить об этом... скучно.

Матушка и дядя оба разом вздохнули и пошли дальше, а я отстал от них и побежал искать учителя, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. Победимский стоял посреди двора и величественно глядел на небо.

— Заметно, что развитой человек! — сказал он, покрутив головой. — Надеюсь, что мы с ним сойдемся.

Через час подошла к нам матушка.

— А у меня, голубчики, горе! — начала она, задыхаясь. — Ведь братец с лакеем приехал, а лакей такой, бог с ним, что ни в кухню его не сунешь, ни в сени, а непременно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мне делать! Вот что разве, деточки, не перебраться ли вам покуда во флигель к Федору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?

Мы ответили полным согласием, потому что жить во флигеле гораздо свободнее, чем в доме, на глазах у матушки.

— Горе, да и только! — продолжала матушка. — Братец сказал, что он будет обедать не в полдень, а в седьмом часу, по-столичному. Просто у меня с горя ум за разум зашел! Ведь к 7 часам весь обед перепарится в печке. Право, мужчины совсем ничего не понимают в хозяйстве, хотя они и большого ума. Придется, горе мое, два обеда стряпать! Вы, деточки, обедайте по-прежнему в полдень, а я, старуха, потерплю для родного брата до семи часов.

Затем матушка глубоко вздохнула, приказала мне понравиться дядюшке, которого бог прислал на мое счастье, и побежала в кухню. В тот же день я и Победимский переселились во флигель. Нас поместили в проходной комнате, между сенями и спальней управляющего.

Несмотря на приезд дяди и новоселье, жизнь, сверх ожидания, потекла прежним порядком, вялая и однообразная. От занятий «по случаю гостя» мы были освобождены. Победимский, который никогда ничего не читал и ничем не занимался, сидел обыкновенно у себя на кровати, водил по воздуху своим длинным носом и о чем-то думал. Изредка он поднимался, примеривал свой новый костюм и опять садился, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его — это мухи, по которым он нещадно хлопал ладонями. После обеда он обыкновенно «отдыхал», причем храпом наводил тоску на всю усадьбу. Я от утра до вечера бегал по саду или сидел у себя во флигеле и клеил змеев. Дядю в первые две-три недели мы видели редко. По целым дням он сидел у себя в комнате и работал, несмотря ни на мух, ни на жару. Его необыкновенная способность сидеть и прирастать к столу производила на нас впечатление необъяснимого фокуса. Для нас, лентяев, не знавших систематического труда, его трудолюбие было просто чудом. Проснувшись часов в 9, он садился за стол и не вставал до самого обеда; пообедав, опять принимался за работу — и так до поздней ночи. Когда я заглядывал к нему в замочную скважину, то всегда видел неизменно одно и то же: дядя сидел за столом и работал. Работа заключалась в том, что он одной рукой писал, другой перелистывал книгу и, как это ни странно, весь двигался: качал ногой, как маятником, насвистывал и кивал в такт головой. Вид у него при этом был крайне рассеянный и легкомысленный, точно он не работал, а играл в нули и крестики. Каждый раз я видел на нем короткий, щегольской пиджак и ухарски завязанный галстук, и каждый раз, даже сквозь замочную скважину, от него пахло тонкими женскими духами. Выходил он из своей комнаты только обедать, но обедал плохо.

— Не пойму я братца! — жаловалась на него матушка. — Каждый день нарочно для него режем индейку и голубей, сама своими руками делаю компот, а он скушает тарелочку бульону да кусочек мясца с палец и идет из-за стола. Стану умолять его, чтоб ел, он воротится к столу и выпьет молочка. А что в нем, в молоке-то? Те же помои! Умрешь от такой еды... Начнешь его уговаривать, а он только смеется да шутит... Нет, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья!

Вечера проходили у нас гораздо веселее, чем дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинные тени, мы, то есть Татьяна Ивановна, Победимский и я, уже сидели на крылечке флигеля. До самых потемок мы молчали. Да и о чем прикажете говорить, когда уже всё переговорено? Была одна новость — приезд дяди, но и эта тема скоро истрепалась. Учитель всё время не отрывал глаз от лица Татьяны Ивановны и глубоко вздыхал... Тогда я не понимал этих вздохов и не доискивался их смысла, теперь же они объясняют мне очень многое.

Когда тени на земле сливались в одну сплошную тень, с охоты или с поля возвращался управляющий Федор. Этот Федор производил на меня впечатление человека дикого и даже страшного. Сын обрусевшего изюмского цыгана, черномазый, с большими черными глазами, кудрявый, с всклоченной бородой, он иначе и не назывался у наших кочуевских мужиков, как «чертякой». Да и кроме наружности, в нем было много цыганского. Так, он не мог сидеть дома и по целым дням пропадал в поле или на охоте. Он был мрачен, желчен, молчалив и никого не боялся и не признавал над собой ничьей власти. Матушке он грубил, мне говорил «ты», а к учености Победимского относился презрительно. Всё это мы прощали ему, считая его человеком вспыльчивым и болезненным. Матушка же любила его, потому что он, несмотря на свою цыганскую натуру, был идеально честен и трудолюбив. Свою Татьяну Ивановну он любил страстно, как цыган, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При нас он никогда не ласкал своей жены, а только злобно таращил на нее глаза и кривил рот.

Возвратившись с поля, он со стуком и со злобой ставил во флигеле ружье, выходил к нам на крылечко и садился рядом с женой. Отдышавшись, он задавал жене несколько вопросов по части хозяйства и погружался в молчание.

— Давайте петь, — предлагал я.

Учитель настраивал гитару и густым, дьячковским басом затягивал «Среди долины ровныя». Начиналось пение. Учитель пел басом, Федор едва слышным тенорком, а я дискантом в один голос с Татьяной Ивановной.

Когда всё небо покрывалось звездами и умолкали лягушки, из кухни приносили нам ужин. Мы шли во флигель и принимались за еду. Учитель и цыган ели с жадностью, с треском, так что трудно было понять, хрустели то кости или их скулы, и мы с Татьяной Ивановной едва успевали съесть свои доли. После ужина флигель погружался в глубокий сон.

Однажды, было это в конце мая, мы сидели на крыльце и ожидали ужина. Вдруг мелькнула тень и перед нами, словно из земли выросши, предстал Гундасов. Он долго глядел на нас, потом всплеснул руками и весело засмеялся.

— Идиллия! — сказал он. — Поют и мечтают на луну! Прелестно, клянусь богом! Можно мне сесть с вами и помечтать?

Мы молчали и переглядывались. Дядя сел на нижнюю ступеньку, зевнул и поглядел на небо. Наступило молчание. Победимский, который давно уже собирался потолковать со свежим человеком, обрадовался случаю и первый нарушил молчание. Для умных разговоров у него была одна только тема — эпизоотии. Случается, что когда вы попадаете в тысячную толпу, вам почему-то из тысячи физиономий врезывается надолго в память только одна какая-нибудь, так и Победимский из всего того, что он успел услышать в ветеринарном институте за полгода, помнил только одно место:

«Эпизоотии приносят громадный ущерб народному хозяйству. В борьбе с ними общество должно идти рука об руку с правительством».

Прежде чем сказать это Гундасову, мой учитель раза три крякнул и несколько раз в волнении запахивался в крылатку. Услышав про эпизоотии, дядя пристально поглядел на учителя и издал носом смеющийся звук.

— Ей-богу, это мило... — пробормотал он, разглядывая нас, как манекенов. — Это именно и есть жизнь... Такою в сущности и должна быть действительность. А вы что же молчите, Пелагея Ивановна? — обратился он к Татьяне Ивановне.

Та сконфузилась и кашлянула.

— Говорите, господа, пойте... играйте! Не теряйте времени. Ведь канальское время бежит, не ждет! Клянусь богом, не успеете оглянуться, как наступит старость... Тогда уж поздно будет жить! Так-то, Пелагея Ивановна... Не нужно сидеть неподвижно и молчать...

Тут из кухни принесли ужин. Дядя пошел за нами во флигель и за компанию съел пять творожников и утиное крылышко. Он ел и глядел на нас. Все мы возбуждали в нем восторг и умиление. Какую бы глупость ни сморозил мой незабвенный учитель и что бы ни сделала Татьяна Ивановна, всё находил он милым и восхитительным. Когда после ужина Татьяна Ивановна смиренно села в уголок и принялась за вязанье, он не отрывал глаз от ее пальчиков и болтал без умолку.

— Вы, друзья, как можно скорее спешите жить... — говорил он. — Храни вас бог жертвовать настоящим для будущего! В настоящем молодость, здоровье, пыл, а будущее — это обман, дым! Как только стукнет двадцать лет, так и начинайте жить.

Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочил, поднял иглу и с поклоном подал ее Татьяне Ивановне, и тут я впервые узнал, что на свете есть люди потоньше Победимского.

— Да... — продолжал дядя. — Любите, женитесь... делайте глупости. Глупость гораздо жизненнее и здоровее, чем наши потуги и погоня за осмысленной жизнью.

Дядя говорил много и долго, до того долго, что надоел нам, а я сидел в стороне на сундуке, слушал его и дремал. Мучило меня, что за всё время он ни разу не обратил на меня внимания. Ушел он из флигеля в два часа ночи, когда я, не справившись с дремотою, уже крепко спал.

С этого времени дядя стал ходить к нам во флигель каждый вечер. Он пел с нами, ужинал и всякий раз просиживал до двух часов, без умолку болтая всё об одном и том же. Вечерние и ночные работы были им оставлены, а к концу июня, когда тайный советник научился есть матушкины индейки и компоты, были брошены и дневные занятия. Дядя оторвался от стола и втянулся в «жизнь». Днем он шагал по саду, насвистывал и мешал рабочим, заставляя их рассказывать ему разные истории. Когда на глаза попадалась Татьяна Ивановна, он подбегал к ней и, если она несла что-нибудь, предлагал ей свою помощь, что страшно ее конфузило.

Чем дальше вглубь уходило лето, тем легкомысленнее, вертлявее и рассеяннее становился мой дядюшка. Победимский в нем совсем разочаровался.

— Слишком односторонний человек... — говорил он. — Ни капли незаметно, чтоб он стоял на высших ступенях иерархии. И говорить даже не умеет. После каждого слова: «клянусь богом». Нет, не нравится мне он!

С тех пор, как дядя начал посещать наш флигель, в Федоре и в моем учителе произошла заметная перемена. Федор перестал ходить на охоту, рано возвращался домой, сделался еще молчаливее и как-то особенно злобно пялил глаза на жену. Учитель же перестал в присутствии дяди говорить об эпизоотиях, хмурился и даже насмешливо улыбался.

— Идет наш мышиный жеребчик! — проворчал он однажды, когда дядя подходил к флигелю.

Такую перемену в обоих я объяснял себе тем, что они обиделись на дядю. Рассеянный дядя путал их имена, до самого отъезда не научился различать, кто из них учитель, а кто муж Татьяны Ивановны, самое Татьяну Ивановну величал то Настасьей, то Пелагеей, то Евдокией. Умиляясь и восторгаясь нами, он смеялся и держал себя словно с малыми ребятами... Всё это, конечно, могло оскорблять молодых людей. Но дело было не в обиде, а, как теперь я понимаю, в более тонких чувствах.

Помню, в один из вечеров я сидел на сундуке и боролся с дремотой. На глаза мои ложился вязкий клей, и тело, утомленное целодневной беготней, клонило в сторону. Но я боролся со сном и старался глядеть. Было около полуночи. Татьяна Ивановна, розовая и смиренная, как всегда, сидела у маленького столика и шила мужу рубаху. Из одного угла пялил на нее глаза Федор, мрачный и угрюмый, а в другом сидел Победимский, уходивший в высокие воротнички своей сорочки и сердито сопевший. Дядя ходил из угла в угол и о чем-то думал. Царило молчание, только слышно было, как в руках Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдруг дядя остановился перед Татьяной Ивановной и сказал:

— Такие вы все молодые, свежие, хорошие, так безмятежно живется вам в этой тишине, что я завидую вам. Я привязался к этой вашей жизни, у меня сердце сжимается, когда вспоминаю, что нужно уехать отсюда... Верьте моей искренности!

Дремота замкнула мои глаза, и я забылся. Когда какой-то стук разбудил меня, дядя стоял перед Татьяной Ивановной и глядел на нее с умилением. Щеки у него разгорелись.

— Моя жизнь пропала, — говорил он. — Я не жил! Ваше молодое лицо напоминает мне мою погибшую юность, и я бы согласился до самой смерти сидеть здесь и глядеть на вас. С удовольствием я взял бы вас с собой в Петербург.

— Зачем это? — спросил хриплым голосом Федор.

— Поставил бы у себя на рабочем столе под стеклом, любовался бы и другим показывал. Вы знаете, Пелагея Ивановна, таких, как вы, там у нас нет. У нас есть богатство, знатность, иногда красота, но нет этой жизненной правды... этого здорового покоя...

Дядя сел перед Татьяной Ивановной и взял ее за руку.

— Так не хотите со мной в Петербург? — засмеялся он. — В таком случае дайте мне туда хоть вашу ручку... Прелестная ручка! Не дадите? Ну, скупая, позвольте хоть поцеловать ее...

В это время послышался треск стула. Федор вскочил и мерными, тяжелыми шагами подошел к жене. Лицо его было бледно-серо и дрожало. Он со всего размаха ударил кулаком по столику и сказал глухим голосом:

— Я не позволю!

Одновременно с ним вскочил со стула и Победимский. Этот, тоже бледный и злой, подошел к Татьяне Ивановне и тоже ударил кулаком по столику...

— Я... я не позволю! — сказал он.

— Что? Что такое? — удивился дядя.

— Я не позволю! — повторил Федор, стукнув по столу.

Дядя вскочил и трусливо замигал глазами. Он хотел говорить, но от изумленья и перепуга не сказал ни слова, конфузливо улыбнулся и старчески засеменил из флигеля, оставив у нас свою шляпу. Когда, немного погодя, во флигель прибежала встревоженная матушка, Федор и Победимский всё еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу и говорили: «Я не позволю!»

— Что у вас тут случилось? — спросила матушка. — Отчего с братцем сделалось дурно? Что такое?

Поглядев на бледную, испуганную Татьяну Ивановну и на ее рассвирепевшего мужа, матушка, вероятно, догадалась, в чем дело. Она вздохнула и покачала головой.

— Ну, будет, будет бухотеть по столу! — сказала она. — Перестань, Федор! А вы-то чего стучите, Егор Алексеевич? Вы-то тут при чем?

Победимский спохватился и сконфузился. Федор пристально поглядел на него, потом на жену и зашагал по комнате. Когда матушка вышла из флигеля, я видел то, что долго потом считал за сон. Я видел, как Федор схватил моего учителя, поднял его на воздух и вышвырнул в дверь...

Когда я проснулся утром, постель учителя была пуста. На мой вопрос, где учитель, нянька шёпотом сказала мне, что его рано утром отвезли в больницу лечить сломанную руку. Опечаленный этим известием и припоминая вчерашний скандал, я вышел на двор. Погода стояла пасмурная. Небо заволокло тучами, и по земле гулял ветер, поднимая с земли пыль, бумажки и перья... Чувствовалась близость дождя. На людях и на животных была написана скука. Когда я пошел в дом, меня попросили не стучать ногами, сказав, что матушка больна мигренью и лежит в постели. Что делать? Я пошел за ворота, сел там на лавочку и стал искать смысла в том, что я вчера видел и слышал. От наших ворот шла дорога, которая, обойдя кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала в большую, почтовую дорогу... Я глядел на телеграфные столбы, около которых кружились облака пыли, на сонных птиц, сидевших на проволоках, и мне вдруг стало так скучно, что я заплакал.

По почтовой дороге проехала пыльная линейка, битком набитая горожанами, ехавшими, вероятно, на богомолье. Не успела линейка исчезнуть из вида, как показалась легкая пролетка, запряженная в пару. В ней, стоя и держась за пояс кучера, ехал становой Аким Никитич. К великому моему удивлению, пролетка свернула на нашу дорогу и пролетела мимо меня в ворота. Пока я недоумевал, зачем это прикатил к нам становой, послышался шум и на дороге показалась тройка. В коляске стоял исправник и показывал кучеру на наши ворота.

«А этот зачем? — думал я, разглядывая покрытого пылью исправника. — Это, вероятно, Победимский им на Федора пожаловался, и они приехали взять его в острог».

Но загадку не так легко было решить. Становой и исправник были только предтечи, потому что не прошло и пяти минут, как к нам в ворота въехала карета. Она так быстро мелькнула мимо меня, что, заглянув в каретное окно, я увидел одну только рыжую бороду.

Теряясь в догадках и предчувствуя что-то недоброе, я побежал к дому. В передней прежде всего я увидел матушку. Она была бледна и с ужасом глядела на дверь, из-за которой слышались мужские голоса. Гости застали ее врасплох, в самый разгар мигрени.

— Кто приехал, мама? — спросил я.

— Сестра! — послышался голос дяди. — Дай-ка нам с губернатором закусить чего-нибудь!

— Легко сказать: закусить! — прошептала матушка, млея от ужаса. — Что я теперь успею приготовить? Осрамилась на старости лет!

Матушка схватила себя за голову и побежала в кухню. Внезапный приезд губернатора поднял на ноги и ошеломил всю усадьбу. Поднялась ожесточенная резня. Зарезали штук десять кур, пять индеек, восемь уток и впопыхах обезглавили старого гусака, родоначальника нашего гусиного стада и любимца матери. Кучера и повар словно обезумели и резали птиц зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради какого-то соуса у меня погибла пара дорогих турманов, которые мне были так же дороги, как матушке гусак. Смерти их я долго не прощал губернатору.

Вечером, когда губернатор и его свита, сытно пообедав, сели в свои экипажи и уехали, я пошел в дом поглядеть на остатки пиршества. Заглянув из передней в залу, я увидел и дядю и матушку. Дядя, заложив руки назад, нервно шагал вдоль стен и пожимал плечами. Матушка, изнеможенная и сильно похудевшая, сидела на диване и больными глазами следила за движениями брата.

— Извини, сестра, но так нельзя... — брюзжал дядя, морща лицо. — Я представляю тебе губернатора, а ты ему руки не подаешь! Ты его сконфузила, несчастного! Нет, это не годится... Простота хорошая вещь, но ведь и она должна иметь пределы... клянусь богом... И потом этот обед! Разве можно такими обедами кормить? Например, что это за мочалку подавали на четвертое блюдо?

— Это утка под сладким соусом... — тихо ответила матушка.

— Утка... Прости, сестра, но... но у меня вот изжога! Я болен!

Дядя сделал кислое, плачущее лицо и продолжал:

— И чёрт принес этого губернатора! Очень мне нужен его визит! Пф... изжога! Я не могу ни спать, ни работать... Совсем развинтился... И как это, не понимаю, вы можете жить тут без работы... в этой скучище! Вот уж у меня и боль начинается под ложечкой!..

Дядя нахмурился и быстрее зашагал.

— Братец, — тихо спросила матушка, — а сколько стоит поехать за границу?

— По меньшей мере три тысячи... — ответил плачущим голосом дядя. — Я бы поехал, а где их взять? У меня ни копейки! Пф... изжога!

Дядя остановился, поглядел с тоской на серое, пасмурное окно и опять зашагал.

Наступило молчание... Матушка долго глядела на икону, что-то раздумывая, потом заплакала и сказала:

— Я, братец, дам вам три тысячи...

Дня через три величественные чемоданы были отправлены на станцию, а вслед за ними укатил и тайный советник. Прощаясь с матушкой, он заплакал и долго не мог оторвать губ от ее руки, когда же он сел в экипаж, лицо его осветилось детскою радостью... Сияющий, счастливый, он уселся поудобней, сделал на прощанье плачущей матушке ручкой и вдруг неожиданно остановил свой взгляд на мне. На лице его появилось выражение крайнего удивления.

— А это что за мальчик? — спросил он.

Матушку, уверявшую меня, что дядюшку бог послал к нам на мое счастье, этот вопрос сильно покоробил. Мне же было не до вопросов. Я глядел на счастливое лицо дяди и мне почему-то было страшно жаль его. Я не выдержал, вскочил в экипаж и горячо обнял этого легкомысленного и слабого, как все люди, человека. Глядя ему в глаза и желая сказать что-нибудь приятное, я спросил:

— Дядя, вы были хоть раз на войне?

— Ах, милый мальчик... — засмеялся дядя, целуя меня, — милый мальчик, клянусь богом. Так всё это естественно, жизненно... клянусь богом...

Коляска тронулась... Я глядел ей вослед и долго слышал это прощальное «клянусь богом».

**ХИТРЕЦ**

Шли два приятеля вечернею порой и дельный разговор вели между собой. Шли они по Невскому. Солнце уже зашло, но не совсем... Кое-где золотились еще домовые трубы и сверкали церковные кресты... В слегка морозном воздухе пахло весной...

— Весна близко! — говорил один приятель другому, стараясь взять его под руку. — Пакостница эта весна! Грязь везде, нездоровье, расходов много... Дачу нанимай, то да се... Ты, Павел Иваныч, провинциал и не поймешь этого... Тебе не понять. У вас в провинции, как выразился однажды какой-то писатель, благодушие одно только... Ни горя, ни печалей. Едите, пьете, спите и никаких вопросов не знаете. Не то, что мы... Подмерзать начало... замечаешь?.. Впрочем, и у вас не без горя... И у вас весной своя печаль. Хе-хе-хе. Теперь у вас, провинциалов, начинает кровь играть... страсти бушуют. Мы, столичные — люди каменные, льдяные, нет в нас пламени, и страстей мы не знаем, а вы вулканы, везувии! Пш! пш! Дышит! Хе-хе-хе... Ой, обожгусь! А признайся-ка, Павел Иваныч, сильно кровь играет?

— Не к чему ей играть... — угрюмо ответил Павел Иваныч.

— Да ну, полно, оставь! Ты холостой, не старый человек, отчего ж ей и не поиграть? Пусть себе играет, коли хочет!.. И напрасно ты конфузишься... Ничего тут конфузного нет... Так только! (Пауза.) А какую, брат, я недавно девочку видел, какую девочку! Пальчики оближешь! Губами сто раз чмокнешь, когда увидишь! Огонь! Формы! Честное слово... Хочешь, познакомлю? Полячка... Созей зовут... Хочешь, сведу к ней?

— Гм... Извини, Семен Петрович, а я тебе скажу, что этак дворянам не надлежит поступать! Не надлежит!! Это бабье дело, кабацкое, а не твое, не дворянское!

— Что такое? Да ты... чего? — струсил Семен Петрович.

— Стыдно, брат! Твой отец-покойник предводителем у нас был, матушка в уважении... Стыдно! Я у тебя уже месяц гощу и одну за тобой черту заметил... Нет у тебя того знакомого, нет того встречного и поперечного, которому бы ты девочки не предлагал!.. То тому, то другому... И разговора у тебя другого нету... Подсватываньем занимаешься. А еще тоже женатый, почтенный, в действительные скоро полезешь, в превосходительные... Стыд, срам!.. Месяц живу у тебя, а ты мне уж десятую предлагаешь... Сваха!..

Семен Петрович сконфузился, завертелся, точно его на карманном воровстве поймали.

— Да я ничего... — залепетал он. — Я это так только... Хе-хе-хе... Какой же ты...

Прошли шагов двадцать молча.

— Несчастный я человек! — застонал вдруг Семен Петрович, багровея и мигая глазками. — Несчастный я! Это ты верно, что я сваха! Верно! И был таким и до самой гробовой доски таким буду, ежели хочешь знать! В аду за это самое гореть буду!

Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левой провел по глазам. Цилиндр его сполз на затылок, галоши сильнее заскребли по тротуару. Кончик носа налился кровью...

— Пропадом пропаду за свое поведение! И умру не своей смертью! Погибну! Чувствую, брат, свой порок и понимаю, но ничего я с собой не поделаю. Ведь для чего я всех женским полом пичкаю? Поневоле, брат! Ей-ей, поневоле! Ревнив я, как собака! Каюсь тебе, как другу моему... Ревность меня одолела! Женился я, сам знаешь, на молоденькой, на красавице... Каждый за ней ухаживает, то есть, может быть, на нее никто и глядеть не хочет, но мне всё кажется... Слепой курице, знаешь, всё пшеница. Всякого шага боюсь... Намедни ты после обеда ей руку пожал только, а мне уж всё показалось... ножом пырнуть тебя захотелось... Всего боюсь! Ну, и приходится поневоле хитрость употреблять. Как только замечу, что кто-нибудь начинает увиваться около, я сейчас и подъезжаю с девочкой: не хочешь ли, мол? Отвод, хитрость военная... Дурак я! Что я делаю! Стыд, срам! Каждый день по Невскому бегаю, вербую для приятелей этих шлепохвостых тварей... Вот этих подлянок! А сколько у меня на них денег сходит, ежели бы ты знал! Некоторые, приятели-то, поняли мою слабость и пользуются... На мой счет пробавляются, подлецы... Ах!

Семен Петрович взвизгнул и побледнел. По Невскому, мимо приятелей, прокатила коляска. В ней сидела молодая дамочка; vis-à-vis дамочки сидел мужчина.

— Видишь, видишь?! Жена едет. Ну, как тут не ревновать? А? Ведь это он уж третий раз с ней катается! Недаром! Недаром, шельмец! Видал, как он на нее поглядывает? Прощай... Побегу... Так не хочешь Созю? Нет? Не хочешь! Прощай... Так я ему ее... Созю-то...

Семен Петрович нахлобучил поглубже шляпу и, стуча палкой, побежал, стараясь не потерять из виду коляски.

— Отец предводителем был, — вздохнул Павел Иваныч. — Матушка в уважении... И фамилия знатная, столбовая... А-а-ах! Измельчал народ!

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того, ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандарах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская... — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская... — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и всё.

— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д’оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.